

# СОВЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

Николай АСЕЕВ

публикуется впервые

# ПОКОЛЕНИЕ БЛОКА

С юных лет я любил и хорошо знал стихи и поэмы Николая Асеева, но случилось так, что лично с поэтом познакомился только в сороковых годах. Произошло это на Рижском взморье, и, прогуливаясь с Николаем Николаевичем по тамошнему бесконечному пляжу, мы немало говорили о поэзии и, конечно, о Блоке, которого, как выяснилось, Асеев высоко почитал и называл в числе своих учителей. Николай Николаевич знал мои работы о жизни и творчестве Блока и относился к ним заинтересованно и сочувственно. Однажды он сказал мне: «У меня есть для вас подарок — моя статья о Блоке. Я написал ее для сборника, посвященного Блоку, но он в свет не вышел».

Через некоторое время я получил от Николая Николаевича эту статью. Вышло так, что она все эти годы пролежала у меня. Но я рад, что сегодня, в преддверии столетия Блока, в хоре голосов, чествующих великого юбиляра, звучит звонкий голос прекрасного советского поэта Николая Асеева.

Вл. ОРЛОВ.

Александр Александрович Блок был для нашего поколения тем писателем, к которому устремлялись мысли и чувства молодежи еще со школьной скамьи.

Естественность и необычность соединялись в нем в такой точной пропорции, что становилось очевидным для всякого, не лишеного чутья, как точность и тонкость его словесного материала гарантирует от всякой банальности и подделки. И вместе с тем стихи Блока с первого же озвучивания с ними были очень реальны, объемны. В них не было словесной шелухи, словесного сора, часто принимающего форму многозначительного содержания, ложной напыщенности мыслями или описаниями. Стихи его с первого взгляда заинтересовывали непохожестью ни на одни раньше читанные, ни на одни прежде существовавшие. Это и было осуществлением бессмертия. Сам автор стихов мог быть замечателен или нет, он мог быть велик или мал, но стихи его говорили о величии существующего, как никакие другие.

Рядом с ним утверждал себя Брюсов. Мы любили его как строгого, замечательного учителя поэзии, знатока ее во всем объеме — от древности до современности. Мы восхищались его защитой Гоголя от желающих видеть в нем только бытописателя. Нам была дорога в Брюсове сверкающая мысль лучевого уста-

ремления в века, умение воссоздавать времена и эпохи логики мысли и знания. Но Брюсов владел холодным оружием поэзии: ее мерой и весом. Это завоевывало уважение, но уводило в историю, в музей, в библиотеку. Белый был более исполнен фантастики и реальности, но он скоро ушел в философическую изломанность и манерность. Это было искренно, но безнадежно. Идти за ним означало стать буршем поэзии, то есть поступить в школу Беловского стиха и Беловского мирозерцания.

Свободы не было ни в том, ни в другом. Один только Александр Блок не навязывал никаких обязательств, кроме того, чтобы не быть связанным доктринерством. Это и было его настоящей мерой поэзии. И это-то привлекало к нему сердца молодежи, чувствовавшие. Это и было осуществлением бессмертия. Сам автор стихов мог быть замечателен или нет, он мог быть велик или мал, но стихи его говорили о величии существующего, как никакие другие.

Блок привлекал нас душевной широтой, благородством поэтического размаха, незаинтересованностью в личной судьбе. В нем чувствовался обаятельный облик того вымирающего писательского племени, существование которого читатель благоговейно чтит, даже не будучи знаком с написанным. Таковы были, к примеру, Баратынский и Тютчев. А уж если попадал к читателю томик такого поэта, то он с ним ос-

тавался надолго, если не навсегда.

Впрочем, не только выше-названные, но и Пушкин, и Гоголь, и Достоевский, и Лев Толстой — вся великая семья русского словесного богатства не была чужда облику Блока. С нею его роднило великое чувство всеобъемлющего ощущения своей страны, во всю ее ширину и глубину. Не только один березки да снеговые равнины видел он в ней. И величественные кручи Кавказа, те «лиловые горы», которые по-

любили Пушкину и Лермонтову, которыми бредил Врубель, и белые ночи «Ночной фиалки», и среднерусский пейзаж древней России, где «низких, нищих деревьев не смерить оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеком», и наконец, та новая страна русская, «Новая Америка», открытие которой в поэзии принадлежит по праву первенства Александру Блоку, где «чернеют фабричные трубы, где заводские стонут гудки», — все это видел и вбирал в себя жадный до жизни, страстный взор поэта, влюбленного в свое время, в свою страну.

Это не значило, что Блок был созерцателем и не знал, куда идти, «в каком сражаться стане!» Но он не мог и не умел «наступать на горло собственной песне» ради политической доктрины. Поэтому ему и не приходилось обращаться с декларацией об этом к потомкам. Он прислушивался к говору всего народа, а не к отдельным голосам, хотя бы и знатоков и разумников. Он ощущал тот гул времени, в котором острый слух его различал то, что он называл музыкой времени.

Что хотел он обозначить этим понятием? Мне кажется, именно лейтмотив, главную ведущую мелодию, которая была слышима им в совершенстве. Мелодия эта звучала и в народной — ямщицкой ли, хороводной ли песне; она звенела в голосах отлетающих на юг журавлей, в звоне отбиваемой на свежем лугу косы. Она отзывалась и в го-

лосах русских писателей: соловьиной звездной россыпью у Пушкина, низким органным звуком у Льва Толстого. В голосе Блока пела она грудным, пчелиным, медовым звуком скрипки — и надолго в ушах оставался ее отгул.

И все это было действительно родным и своим, несмотря на некоторую непривычность вначале. Так в детстве знакомишься с морем и с небом, когда звездной ночью внезапно раскинется оно впервые над головой; так узнаешь по запаху дыма близость людей, по свежести росы — близость утра. У Блока было все это: и дымок костра, и луговая свежесть, и сытный запах свежеспеченного хлеба. Вот этот насыщенный хлеб поэзии и привлекал к нему молодежь, несмотря на окрики и предостережения любителей линейно-логической рассудочности, требования от поэзии непосредственных высказываний по поводу очередных происшествий. Но происшествия сходили на нет и выветривались из памяти, а стихи оставались в ней, засекая время.

Странные, не соблюдающие точного размера строки, будничная, казалось бы, тематика стиха, а вместе с тем что-то в ней есть гораздо более значительное, чем кажется на первый, маловнимательный глаз.

В пытливых и жадно ловящих очертания мира зрачках тогдашней молодежи, любившей поэзию, отражалось больше, чем могли увидеть преследователи и насмешники над «декадентством» Блока. В зрачках этих отражалась кончина прошлого века, конец ночи и начало зари.

Так был воспринят впервые Блок. Это было в 1903 году. Еще все было полно банальной риторики Надсона или напыщенной декламационности Алухтина — и вдруг этот родной, светлый голос:

Погружался я в море  
клевера,  
Окруженный сказками пчел.  
Но ветер, зовущий  
с севера,  
Мое детское сердце нашел.

И верилось сразу этому детскому, открытому, чистому сердцу. Да и как было не верить голосу такой правдивости и чистоты!

Зимний ветер играет  
терновником,  
Задует в окне свечу.  
Ты ушла на свиданье  
с любовником.  
Я один. Я прощу. Я молчу.

Ты не знаешь, кому ты  
молишься —  
Он играет и шутит с тобой.  
О терновник холодный  
уколешься,  
Возвращаясь ночью домой.

И вот настал памятный грозовой год первой русской революции. Знакомство с Блоком укрепилось и перешло в сродство. Сродство общей судьбы, общих чувств. Уже стало привычным его творческое лицо, стало необходимым движение его стиха, единственно живого среди мумий и восковых фигур. Живого и по звуку, и по чувству. Направленного против «сытых», ставшего защитой тех, кого «никому не жаль, никому не жаль!»

Они давно меня томили:  
В разгаре девственной  
мечты  
Они скачали, и не жили,  
И мяли белые цветы.  
И вот — в столовых и  
гостиных,  
Над грудой рюмок, дам,  
старух,  
Над скукой их обедов  
чинных —  
Свет электрический потух.

Это — против «сытых», сказанная еще тогда, когда первая всероссийская забастовка отемнила самодовольные лица общества, окружавшего Блока. Он не побоялся расстаться с этим обществом тотчас же, как понял «скуку их обедов чинных», скуку их мертвенной пародии на жизнь.

А ведь это было тогда, когда для них оставалось —  
Еще прекрасное серое небо,  
Еще безнадёжна серая  
даль,  
Еще несчастных, просящих  
хлеба,  
Никому не жаль, никому  
не жаль!

Так было навеки запечатлено Блоком ощущение времени. И ни у кого другого не хватило голоса, чтобы взять и вернуть его в его неповторимости. Оно осталось в поэзии. Его стихотворение «Минут», недостаточно еще оцененное до сей поры, останется свидетельством вечной близости поэзии с революцией.

Он говорил умно и резко  
И тусклые зрачки  
Метали прямо и без блеска  
Слепые огоньки.

Таков портрет оратора, политического трибуна 1905 года, политкаторжанина, только что вернувшегося из ссылки, несущего на себе тень рудников и централов. Поэтому его глаза еще без блеска, поэтому он

...серый, как ночные своды,  
Он знал всему предел,  
Цепями тягостной свободы,  
Уверенно гремел.

И сцена страшного убийства его из-за угла провокатором и то, как человек лежал, и как солдат держал ружье над убитым, — все это быстро и остро отмечено пристальным внутренним взором поэта. И этот поэт «ночным дыханием свободы уверенно вздохнул».

Вместе с Блоком вздохнул дыханием свободы и его читатель. Это очень много было — увидеть рождение этой свободы не только в прокламациях и демонстрациях, но и в духовном ее обличье, рожденном голосом поэта.

Так Блок, сам того не представляя, стал политическим агитатором высокой квалификации.

Я ж с небес поэзии  
бросаюсь в коммунизм —

писал об этом Маяковский. Но, пожалуй, и становление Маяковского было бы не в той мере определено и бурно стремительно, не будь этих стихов Блока. Они нас учили многому и многое заставляли осмысливать.

Но о Маяковском и Блоке следует говорить особо. Здесь же нужно упомянуть лишь, что взаимовлияние этих поэтов — бесспорно. Во-

первых, гражданский оттенок поэзии Блока, его страстная искренность была тем началом, которое затронуло в Маяковском глубокие чувства. Об этом свидетельствует неоднократное применение им к собственным ощущениям образов Блока. Стоит хотя бы вспомнить строчки из «Человека», уже зрелой вепчи Маяковского, о «несгорающем костре немислимой любви» или образ «деревянной невесты» — скрипки, или ритм главы из того же «Человека», близкий блоковскому:

Иду и вижу — глубина,  
Гранитом тесно сжатая.  
Течет она,  
Поет она,  
Зовет она, проклятая.  
Особенно ярко это становится, если вспомнить стихи Блока из циклов «Пляски смерти» и «Жизнь моего приятеля», относящиеся к началу поэтической деятельности Маяковского.

Ночь, улица, фонарь,  
аптека...  
И в другом месте:  
Когда же он медленно  
вышел,  
Подняв воротник, из ворот,  
Таращил сочувственно  
с крыши  
Глазищи обмызганный кот...  
Это — у Блока.

А вот у Маяковского в «Человеке»:  
Мяукал кот,  
Коптел горя,  
Ночник.  
Звонился в звонок.  
Аптекаря!  
Аптекаря!  
Повис на палках ног.  
Несомненно влияние Блока на формирование выразительных средств поэзии Маяковского.

Но и обратный процесс не менее показателен. Если вспомнить резкое изменение лексик и синтаксиса Блоком при его поисках нового, при стремлении создать вещь, широко охватывающую народную стихию, вознесшую свои гребни на высоту революции Октября, — придется обратиться к практике Маяковского. Блок, не

сомненно, перестраивал средства своего воздействия, искал широкого выхода в море народа. «Двенадцать», своей взволнованностью, народностью словаря, революционной страстностью перекликается с поэмами Маяковского, обращаясь к строению стиха, отличающемуся от всего, что было привычно в Блоке.

Блок воздействовал не на одного только Маяковского. Он сформировал в большей или меньшей степени всех наиболее значительных поэтов последующего за ним поколения. И Анна Ахматова, и Сергей Есенин не были бы без Блока такими, какими они сложились и отчеканились. Свобода его дыхания дала им опыт и возможность, не бывшие до него.

Гейне стал возможен на русском языке только через Блока и после Блока. Я не говорю уже о менее характерных явлениях, окрашенных могучей мелодией блоковского распева.

Так росло и складывалось поэтическое начало века. Отступления, если и были, то скорее случайного и неубедительного порядка.

Русский язык в тончайших своих оттенках был ведом Блоку. Многоцветность, страстность, какая-то внутренняя озаренность его поэтического облика дала нам твердую уверенность в том, что и после Пушкина не исчерпаны возможности русского стиха, как нам все время внушали с детства. Дескать: пишите, как писал Пушкин, лучше все равно не будет, так хоть похоже будет. Эту мрачную и лживую доктрину холодных и ленивых душ первым разрушил Александр Блок.

За это и за незабываемый голос его, раздавшийся на заре века призывом к тревоге и неуспокоенности, вечно будет благодарна ему родная земля, вечно будет воздвигаться памятники в поколениях вновь и вновь обдаваемых росяной свежестью и чистотой поэзии Блока.